

Визит на дом

То, что поэт (и отчасти прозаик) Сергей Островой — преданнейший читатель «Вечерки», я поняла, когда интервью с ним началось не с банального спросил-ответил, а с подробного анализа статей и перечня фамилий членов нашей редколлегии, который Сергей Григорьевич воспроизвел без единой запятой.

Ирина КОРНЕЕВА

**В**ойна началась в 41-м году 22 июня, а уже через несколько дней я напечатал в «Вечерней Москве» стихи, которые назывались «Проклятые варварам»... Пятьдесят с лишним лет я читаю «Вечерку». Более того, когда пришел Никита Хрущев, у него была идея: разогнать все творческие партийные организации, чтобы не было никаких там союзов писателей, актеров, и прикрепить их к заводам, фабрикам, чтобы они в рабочем коллективе вместе со всеми творили бы свое дело. И вот меня и еще четырех человек прикрепили к «Вечерней Москве», на мое счастье. Так что у меня с вашей газетой давнишние связи, родственные. Но для начала я вот чем хотел бы с вами поделиться. Это меня волнует многие годы — пытаюсь найти ответ и никак не приду ни к какому знаменателью. Как происходит, что в обычных семьях, далеких от живописи, музыки, литературы, рождается ребенок, который вдруг становится известным писателем, актером, художником? Я, например, не помню, чтобы мои отец или мать просто элементарно читали. Я не видел ни одной книги в своем доме, родители были заняты другими делами, очень далекими от литературы. А я читал крадучись, ночью из-под матраца доставая книгу. И вдруг в такой семье человеку стало интересно выражать себя на бумаге, да чтобы складно было, в рифму. Откуда это, почему? Одно дело, когда в семье знаменитый отец, дед, потомственная тяга «к слову», но когда высекание искры происходит совсем в другой среде, это выглядит даже противоестественно. Все, что я сделал в жизни, я сделал сам. Никто мне не помогал. С отцом у меня были сложнейшие отношения — у него рука была очень тяжелая. И я это ощущал до тех пор, пока не вырос. В пятнадцать лет я его схватил за руку и почти поставил на колени. Он заплакал. После этого по бою прекратились.

**— А ваши первые стихотворные опыты как были оценены отцом?**

— Когда дома заметили, что я потянулся к бумаге, на меня смотрели, как на чудака. Отец говорил: ну что ты ерундой занимаешься, выучился бы на доктора, был бы в жизни обеспеченным человеком... Только когда я стал, не побоюсь этого слова, известным поэтом и, приезжая к себе на родину в Сибирь с выступлениями, собирал полные залы, он все понял и даже стал гордиться мной. Жаль, недолго — в 37-м году он был арестован, в 38-м — расстрелян. По смертно реабилитирован. А костей его найти не могу... Становишься старше, многое прощаешь.

**— Дед ваш, читала, был долгожителем...**

— О, это была фигура любопытная. Такой маленький сухонный человек, который семь раз женился и угодил за убийство пристава в Сибирь. Причем убил не из-за политических разногласий, а из-за ревности. Зарубил топором. Дед дожил до 107 лет. Боялись его в семье до ужаса — деспотом слыш невероятным. Бил моего отца вожжами и однажды даже палкой ему руку сломал. Когда я думаю, через что пришлось моему отцу в детстве пройти, понимаю, почему он так ожесточился... А я сам никогда ни на кого руки не поднял, не представляю, как такое возможно.

**На этой фразе в комнату входит очаровательная брюнетка и ставит на столик перед нами разрезанную дыню: «Сергея, угощай настойчивее!»**

**— Жена?**  
— Жена, и причем знаменитая женщина — Надежда Толстая. Была первой арфой Советского Союза в оркестре Светланова.

**— Давно женаты?**  
— Не очень, лет сорок пять — пятьдесят...

**— А как вы познакомились?**  
— Я приехал в Ленинград, там в Малом оперном театре шла «Угрюм-река» по моему либретто, жил в гостинице «Европейская». Однажды ко мне подходит небезызвестный композитор Арам Ильич Хачатурян: «Сергея, у меня сегодня сим-

Сергей ОСТРОВОЙ:

Вет. Москва, — 1999 — 6 сент. — с. 6

Безгрешные люди — самые тяжкие грешники

Но наш герой вовсе не безгрешен

фонический концерт в филармонии напротив, я очень прошу, приходи». Я говорю, Арам, не люблю симфонической музыки. Он в ответ: «Ну, если не понравится, уйдешь». И я вспоминаю, что есть женщина, которая очень любит симфоническую музыку. Я ей звоню: так и так, пойдете? Она соглашается, мы приходим в филармонию, садимся в ложу, концерт еще не начинается, и вдруг она замечает: «А вот вошла одна из самых красивых женщин Ленинграда, Надя Толстая, арфистка». Я посмотрел, что-то мне не очень она приглянулась, но вижу, идет эта арфистка к жене Хачатуряна, к Нине Макаровой, а я ее знал и тоже подошел к Нине. Слово за слово, нас познакомили, поближе разглядел Надежду, мне она понравилась...

**— Сколько вам тогда было?**

— 39 лет. Я был тогда женат, но уже на грани развода — не складывалось, хотя мы прожили с первой женой больше десяти лет... А с Надеждой мы через месяц поженились. И вот почти 50 лет вместе. Я все книги ей посвятил, все книги! И в последней написал, что и эту книгу, как и все остальные, тоже посвящаю ей. Мне Гамзатов однажды говорит: «Слушай, ну а потом как ты напишешь — тоже ей?» Да, отвечаю, всегда так будет.

**— Поэтому ваше авторское «я» в рассказах всегда женского рода?**

— Вы меня врасплох застали... Я как-то не задумывался, а ведь действительно, почти все герои моих рассказов, за исключением одного, — женщины. От их имени и говорю... Я специально так не делал, изнутри вышло. У меня к женщине особое отношение. Есть глупая песня, но очень правдивая: без женщин жить нельзя на свете, нет. И это правда.

**— У вас есть строчки: «...у ангелов крылышки черные».**

— Жизнь меня много раз убеждала в том, что безгрешные люди — самые тяжкие грешники, а ангелы — на самом деле заправские черти и дьяволы. У нас был один поэт — более распущенного человека представить было невозможно. Но когда разбиралось чье-нибудь дело, он как член партийного комитета писателей всегда выступал самым главным обвинителем. Хотя все знали, что на нем пробы ставить негде. Вот почему я и написал: у ангелов крылышки черные.

**— Вы на машинке печатаете?**

— Сначала пишу от руки, потом, чтобы зрительно представить, как это читается, печатаю на машинке.

**— А с компьютером отношения не сложились?**

— Нет, я в этом смысле человек консервативный. У меня заповедь: во всем должна быть стабильность. Почему мы дергаемся, почему мы так плохо живем — потому что у нас ничего стабильного нет. Мне рассказывал писатель Владимир Линд, он часто бывал в Англии и однажды приехал туда, открыл записную книжку и позвонил по тому телефону, по которому разговаривал сорок лет назад, и все было на месте! А у меня дома уже три раза меняли номер телефона.

**Тут я замечаю большой портрет Сергея Михалкова в квартире Острового.**

— Да, портрет Сергея Михалкова у меня в кабинете висит — мы с ним давно дружим. И на бильярде раньше любили сыграть. Жаль, что он в теннис не играет. Вот если бы вы меня увидели на корте! Я почти все мячи достаю.

**— Как часто играете?**

— Два-три раза в неделю. А до этого каждый божий день ходил, но сейчас много претендентов. Я-то играю бесплатно, поскольку был президентом Федерации тенниса России, а много ли людей, способных платить по сорок долларов в час! Мыслимо ли это? А я живу теннисом. Для меня это половина жизни. Я считаю, что наши братья писатели, которые сосут лапу и не занимаются никаким спортом, малокультурные люди. По-настоящему культурный человек думает не толь-



Из семейного архива

Надежда Толстая — Сергею Островому: «Я не — я на концерт. — А я — на корт».

ко о духовном здоровье, но и обязательно о телесном.

Я считаю, что возраст — это не цифры в паспорте, а самочувствие, влюбленность. Поэтому я работаю вовсю. У меня в столе столько накопилось! Я мог бы сейчас собрать такую книгу, какой у меня в жизни не было. Хотя у меня их издано почти пятьдесят.

**— Так в чем же дело?**

— Да никто же не печатает! Есть дикое решение не печатать в газетах стихи. Большого изувержения придумать невозможно. В России ведь испокон веков на стихах вырастали целые поколения. А теперь людей лишили такой возможности.

**— Но существуют же толстые журналы.**

— У меня сейчас взяли стихи в «Новый мир». Целую подборку. Выйдет она в лучшем случае в декабре. Они за пять месяцев сдают в набор. Ну, скажите, можно так жить?

**— А книги, издательства?**

— Если бы вы мне нашли хоть одного издателя, я был бы безмерно благодарен. Они же не печатают стихи. Они и прозу-то не печатают. Издают Пелевина, которого никто не читает, хотя считают его гением. Вы его читали хоть раз в жизни?

**— Конечно.**

— И до конца дочитали? Не верю. Ну что это, по-вашему — величайшая проза? Вот Платонов — писатель. А это все, господа боже мой, через десять лет никто и не вспомнит.

**— А к Евтушенку, Вознесенскому, Рождественскому вы как относитесь?**

— Талантливые люди. С Андреем у меня хорошие отношения. Мы обменялись книжками, и я ему напи-

юю, какие же он песни поет. Он мне: «Подари мне, сокол, на прощанье саблю». Я в ответ: «Так эту же песню написал я!» Представляете: Сухуми, три часа дня, стоит какой-то парень на базаре и утверждает, что эту песню написал он. Он посмотрел на меня: врешь, говорит. — «Не вру». — «Ну так скажи слова». А я, как нарочно, не могу вспомнить ни одного слова, забыл. Он посмотрел на меня, эх ты, говорит, а еще в очках. И пошел в полной уверенности, что я его обманул.

А однажды мы с женой поехали в Сочи отдыхать. И на мое несчастье рядом с нами было два или три санатория, радост одного из которых влюбился в мою песню и каждый день в пять часов утра, в самый сон, записывал ее так, что я проклинал его вместе со своей песней на все лады. А Надежда мне говорила: терпи, сам написал.

**— Вы ведь начинали на хлеб себе зарабатывать не стихами, а журналистским трудом.**

— В шестнадцать лет я ушел из дому и уехал в Томск с одним рублем в кармане. Там у меня был родственник — гипнотизер, знаменитый человек в городе, да что в городе — когда он проводил публичные сеансы, вся Сибирь съезжалась, весь ученый мир. Прихожу к нему, а он мне прямо на пороге говорит: «Ну вот что, друг мой, дайте меня ни дядей, ни тетей, ни братьев, ни сестер не существует. Если ты умный парень, талантливый, мы с тобой сойдемся, а нет — извини». За что я ему бесконечно благодарен. После такой встречи я пошел в газету «Красное знамя», мол, хочу у вас работать. Редактор, до сих пор помню его фамилию — Степанов, спрашивает: «А что ты умеешь делать?» — «Все». — «Хорошо, мы проверим». И дал задание пойти на маслозавод написать статью о том, как работают ударники. Пошел, написал, сдал. Проходит день, другой, третий, статьи моей не печатают, а деньги у меня кончились, жить не на что. Прихожу в редакцию, Степанов меня спрашивает: «Ну, читали?» — «Что? Статьи-то нет в газете». А он мне показывает на последней странице четыре строчки: «Вот что осталось от вашей статьи, а теперь начинайте работать». И я два или три года работал в «Красном знамени», прославился, меня весь город знал. Потом работал в Москве, в журнале «30 дней», взяли консультантом в отдел писем. За каждый ответ платили по 50 копеек. Дальше в газете «Гудок», «За коммунистическое просвещение», в «Крестьянской газете»... Так что ваше журналистское горнило я прошел основательно.

**— Вы сейчас придерживаетесь какого-то особого режима?**

— Во-первых, я уже лет пятнадцать не ем мяса. Дали б мне сейчас отбивную — ни за что бы не съел. Не могу, брезгую, я даже вкуса мяса уже не помню. Много ем овощей, фруктов. У меня был обычай: я как вставал утром, натошак съедал морковку. Дружки некоторые все надо мной смеялись. Ни одного из них уже нет в живых.

**— А вы когда-нибудь курили?**

— Лет сорок — бешено. На войне не вынимал изо рта. А однажды сказал себе: все. Трудно было, не передать как. Ловил себя на том, что подсаживался к какому-нибудь курильщику человека, вдыхал его дым и получал от этого удовольствие. И все-таки не закурил. Мое счастье, что Надя у меня тоже не курит. Не выносит сигарет.

**— Мясо она ест?**

— Нет. Все мы делаем вместе. Молочное, овощи, фрукты, — вот наша пища. Я в еде неприхотлив. Обязательно только в обед каждый день ем большую тарелку овощного супа или борща со сметаной, с хлебом... А вы сами готовите?

— Да.

**— И мясо едите?**

— Едим.

**— Плохо. А муж вас старше?**

— Старше.

**— Намного?**

— Да на чуть-чуть.

**— А у нас с Надеждой двенадцать лет разница. Я считаю, муж должен**

быть старше минимум лет на десять. Покойный Шкловский, Виктор Борисович, который жил в нашем доме, говорил, будто бы греки утверждали, что муж должен быть старше жены на семнадцать лет. Не знаю как на семнадцать, а лет на десять — двенадцать — обязательно. Потому что потом все сгладится, никакой разницы не окажется. Мужчина физически сохраняется лучше. Я могу побежать, поднять тяжесть. Баба в сорок пять ягодка опять, а мужчина — в семьдесят пять. Самый-самый расцвет.

**— А вы пьете?**

— Редко. И раньше очень мало пил. Я был пьян два раза в жизни. Причем так, что валялся на земле и меня несли. Один раз напился с комсомолком Леоновым, он только что из космоса вернулся, и мы выступали вместе в каком-то дворце милиции. После нас генералы забрали, куда-то повезли. Мы там так напились, что я забыл свое пальто. И я понял, мало того, что удовольствия никакого, так еще и на другой день противно.

**— По магазинам кто у вас ходит?**

— Я покупаю хлеб, овощи, фрукты в палатках. Выбрасываю мусор, мою посуду — это все на мне. Каждое утро приходится что-то в дом приносить. А когда я пришел, разделся, уже весь день не выхожу из квартиры. Или работаю, или читаю.

**— Подъем дома во сколько?**

— Завтра я встаю в половине шестого утра. В восемь часов мне уже надо быть на корте.

**— Крытом, открытым?**

— Только открытым, помещение я терпеть не могу. Во-первых, плохо вижу, во-вторых, на воздухе надо заниматься. Я вообще люблю ходить по земле. С детских лет, когда мои сверстники асфальт каблуками топтали, я босиком ходил по Сибири. Отсюда все.

Сегодня, 6 сентября герою нашего повествования исполняется 88 лет. Поздравляем! И публикуем два новых стихотворения Сергея Острового.

Листопад

Перед стужей напоследки,  
Сквозь дождливое нитье,  
Разговаривали ветки  
Про свое житье-бытье.

Вот уже все ближе зазимь,  
Стынет серая зря,  
И слетают листья наземь,  
Как листки календаря.

Где-то черный, где-то красный,  
Где-то золоту под цвет.  
Я, как зритель сопричастный,  
Это вижу много лет.

И всегда об эту пору  
И в довольстве, и в беде  
Я ищу свою опору  
В листопадной череде.

Это зря сороки вдали  
Про зловредство перемен.  
Годы пали... листья пали...  
Но уже грядет замен.

Тенета

А за спиной святых картин —  
Томится плоть во зле.  
И тыщи черных паутин  
Кочуют по земле.

И там, где черное черно,  
И там, где есть просвет,  
Взойдет ли истины зерно?  
Взойдет ли? Или нет?

А злой паук все тклет и тклет,  
Теряя счет ночей.  
И встали тени от тенет,  
Наперехват лучей.

Есть у меня один сосед,  
Занятный индивид,  
Еще темно, еще чуть свет,  
А он уже не спит.

Он хочет людям порадовать,  
Он говорит:  
— Люблю!  
А сам торопится надеть  
На ближнего петлю.